

ГРАМОТЕЙ

ЦИКЛ ИЗ ПЯТИ КНИГ · КНИГА ПЕРВАЯ

ЗНАК

Он не врёт. Он редактирует.

РОМАН

АЛЕКСАНДР ЖАРКОВ

МОСКВА · 2026

Александр Жарков

Знак

<https://litres.ru/74684938>

SelfPub; 2026

Аннотация

Москва, апрель 2026. В подземном коллекторе найден мёртвым застройщик Виктор Заикин — тот, по чьему заказу сожгли художественную галерею. К его руке пришит лист «Требника» 1580 года, а в кармане лежит конверт с акростихом, который читается только снизу вверх. Профессор-палеограф Даниил Вешняков умеет читать чужие подписи. Но впервые подпись читает его. Дело возвращает Вешнякова к пожару 2022 года, после которого у него не осталось семьи. Пока полиция ищет убийцу, он читает знаки человека, который не лжёт в письме. Первый роман цикла «Грамотей».

Содержание

Пролог. Огонь	4
1. Подземная река	9
2. Трезуб	13
3. Профессор	18
4. Перевернутый акrostих	23
5. Руки	28
6. Первый допрос	32
7. Глаза	37
8. Молитва	41
9. Библиотека	44
10. Человек в эфире	48
11. Гончарная	52
12. Штаб	56
13. Подкаст	59
14. Никитин	61
15. Пропуск	64
16. МЕНЕ	66
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Александр Жарков

Знак

*«И никтоже может реци Господа Иисуса,
точно Духом Святым. А кто речет сие без Духа,
тот пишет на воде, и буквы его не имут места».
Из «Сказания о знамениях», список XVI века, собрание
Братства ключа*

Пролог. Огонь

Огонь съел Кремль за одну ночь.

Дьяк Григорий проснулся от того, что в горнице стало светло. Не от свечи — свеча давно догорела. Свет шёл от двери: по щели между створками ползла оранжевая полоса, и в ней дрожали пылинки. За дверью гудело так, будто кто-то большой и терпеливый перекатывал камни.

Он встал, накинул кафтан на рубаху и толкнул дверь. Жар ударил в лицо, как ладонь.

Горела соседняя палата. Крыша уже провалилась, и в проломе видно было небо — не чёрное, а бурое, как старая кровь на полотне. Внизу, во дворе, бегали люди с вёдрами; их тени метались по стене выше их самих, и от этого казалось, что людей больше, чем есть.

Григорий не побежал за ведром. Он вернулся в палату, к

сундукам.

Ключи лежали в изголовье, под иконой. Их было три. Первый — от нижней клетки, второй — от книжного ларя, третий — от двери, которой в описи не было.

Он отпер ларь и вынул кодексы.

Их было четыре. Три он взял под мышки. Четвёртый, самый толстый, в переплёте из тёмной кожи с медными жуками, не вошёл. Григорий примерился, переложил один кодекс поудобнее, потом второй. Четвёртый не вошёл.

— Не книги спасай, — сказали от двери.

Григорий обернулся. На пороге стоял старец Феофил, духовник великой княгини, в одной власянице, босиком. Он не спешил. Он смотрел не на огонь, а на пол, где у притолоки лежала золотая титла — видимо, упала с оклада, когда дрогнула стена. Титла была маленькая, с ноготь, и свет от пожара играл на ней так весело, что Григорию стало стыдно.

— Не книги спасай, — повторил старец. — *Место* спасай. Книги можно переписать. Место нельзя.

— Отче, — сказал Григорий, — там греческие, там римские, там подписи. Если сгорят...

— Если сгорят, — сказал старец, — у Москвы не будет родословной. А если уцелеют — у неё не будет покоя. Выбери, дьяк, какая беда тебе ближе.

Григорий не ответил. Он знал, о чём говорит старец. В этих книгах были не только слова. В них были *подписи*: византийские печати, римские буллы, грамоты, по которым вы-

ходило, что московский государь — не просто государь, а наследник двух империй, третья опора мира, и что право его на это наследство записано не людьми, а временем. Сгореть они могли за час. Переписать их мог любой, у кого есть чернила и совесть, достаточно гибкая, чтобы не мешать.

— Сколько у нас времени? — спросил Григорий.

— Пока не рухнет стропило, — сказал старец. — Потом — сколько угодно.

Григорий снял с себя кафтан, бросил его на пол и стал заворачивать в него четвёртый кодекс. Ткань была дорогая, сукно английское, подарок купца; он не думал об этом. Он думал о том, что в подклете под церковью Рождества есть ход, который выводит к Неглинной, и что ход этот заложен кирпичом ещё при покойном государе, и что кирпич можно вынуть.

— Возьми ещё вот это, — сказал старец и протянул ему небольшой свиток в кожаном футляре.

— Что это?

— Список. Где что лежит. Не для тебя. Для того, кто придёт после.

— После кого?

Старец посмотрел на него долго. У него были глаза человека, который уже решил, что умрёт, и потому не боится показаться смешным.

— После нас, дьяк. После всех нас.

Они вышли во двор. Огонь уже перекинулся на соседнюю

палату; в воздухе летали искры и страницы. Страницы были красивые: огонь не сразу съедал их, а сначала делал золотыми, и они поднимались над крышами, как маленькие птицы, которые не знают, куда лететь.

Григорий нёс книги. Старец шёл впереди и не оглядывался.

В подклете было холодно и тихо. Вода в Неглинной стояла низко — лето выдалось сухое; в проёме, где каменная кладка расходилась, виднелось тёмное русло. Воз у входа уже ждал. На возу лежали мешки с солью — так было велено; соль не горела и не вызывала вопросов.

Григорий уложил кодексы между мешками. Старец достал из рукава ключ.

Ключ был странный: короткий, тёмный, с бородкой, у которой не было зубцов. Григорий видал такие у мастеров-замочников — их называли «немыми»: замок с ним открывался только в одном положении, которое знал один человек на свете. Старец вставил ключ в скважину в стене, повернул дважды — и кирпичная кладка отъехала в сторону, будто дверь.

— Веди воз, — сказал старец. — И не оглядывайся.

— А вы?

— Я заложу.

— Вас же...

— Меня — нет, — сказал старец спокойно. — Меня уже нет, Григорий. Я сгорел в этой палате, когда ты спасал книги.

Так будет записано. А ты запомни: доколе сие сокрыто — Москва стоит. А явится — будет ли ей стоять?

Он сказал это без пафоса, как спрашивают дорогу.

Григорий хотел ответить. Но старец уже повернулся к стене и стал укладывать кирпич — быстро, привычно, будто всю жизнь только этим и занимался.

Воз ушёл в темноту. Вода где-то капала — ровно, как часы, которые никто не заводит. Григорий шёл рядом с лошадыю и слышал за спиной стук кирпича о кирпич. Потом стук стих.

Он не оглянулся.

Через четыреста восемьдесят девять лет в этой же темноте найдут тело застройщика, и его пальцы будут пришиты к листу требника — как перо к пергаменту.

* * *

1. Подземная река

Михалыч спустился в коллектор в половине шестого утра, потому что вода ушла.

Не то чтобы совсем ушла — так не бывает; в Неглинке, упрятанной в трубу ещё в позапрошлом веке, вода есть всегда. Но сегодня она стояла по колено, а вчера была по грудь. Ремонтники перекрыли верхний сброс, и река на время стала тем, чем была до Москвы: ручьём в каменной кишке.

— Иди, иди, — сказал сзади Серёга, молодой, в оранжевой каске набекрень. — Начальство сказала: до семи чтобы было чисто.

— До семи оно само не просохнет, — сказал Михалыч.

Он шёл первым, освещая фонарём стены. Кирпич был старый, местами вымытый до красной мякоти; на нём белели высолы, похожие на плесень. Пахло не так, как обычно: не гнилью и не мылом, а сухой бумагой и железом. Михалыч подумал, что кто-то наверху жёг архив.

Он знал этот запах. Так пахло в детстве, когда отец приносил домой списанные бухгалтерские книги и они жгли их в печке, потому что бумага горела жарче дров. Отец говорил: «Бумага — это дерево, которое научилось думать». Михалыч тогда не понял. Сейчас, в коллекторе, он вдруг вспомнил и подумал, что дерево, которое научилось думать, горит особенно хорошо.

— Слышь, — сказал Серёга. — Тихо как.

Михалыч остановился. Он и сам это заметил. В коллекторе всегда что-то звучит: капель, гул города, шелест воды. Сейчас не было ничего. Только их шаги.

— Трубу перекрыли, — сказал он. — Вот и тихо.

— Ага. А вода куда делась?

Михалыч не ответил. Впереди был поворот, за ним — ниша, где стояли насосы. Он знал это место наизусть: тридцать лет ходил по этим трубам, сначала с отцом, потом один. В нише всегда было сыро, и всегда пахло мазутом.

Здесь случалось всякое. В две тысячи пятом прорвало трубу, и вода поднялась до потолка; они с отцом вытаскивали из ниши насос, и отец смеялся, что река вернулась домой. В две тысячи двенадцатом нашли сумку с деньгами — кто-то сбросил в люк, спасаясь от погони. В две тысячи восемнадцатом — собаку, живую, мокрую, которая потом жила у Михалыча три года и умерла от старости.

И ещё здесь всегда было тихо по-особому: не мёртво, а как в комнате, где кто-то спит. Михалыч привык к этой тишине. Он даже любил её.

Сейчас в нише сидел человек.

Михалыч сначала подумал — пьяный. Мало ли. В коллектор иногда спускались всякие: кладоискатели, любители острых ощущений, один раз — целая свадьба с шампанским. Но этот сидел слишком прямо. На ящике из-под кабеля, спиной к стене, голову чуть склонив набок, будто прислушивался.

На нём был тёмный костюм, дорогой, но мокрый; из-под пиджака виднелась белая рубашка.

На ногах были туфли. Лакированные, с острыми носами, по щиколотку в воде. Кто-то, кто шёл сюда, не думал, что придётся идти обратно. На левом запястье — часы. Механические, с чёрным циферблатом. Они стояли. Михалыч посмотрел на стрелки: без пяти двенадцать. Он не знал, утра или ночи, но почему-то решил, что ночи.

— Эй, — сказал Михалыч. — Здесь нельзя.

Человек не пошевелился.

Фонарь выхватил его руки. Вернее, то, что было на месте рук. Кисти отсутствовали — аккуратно, почти хирургически, у самых запястий; из рукавов торчали тёмные обрубки, и на левом был завязан жгут.

Михалыч услышал, как за спиной у Серёги что-то оборвалось в горле.

— Не подходи, — сказал Михалыч. Голос у него вышел спокойным, и он сам этому удивился. — Наверх. Быстро.

Серёга попятился, задел кабель, чертыхнулся и побежал. Шаги его удалялись, как удары сердца.

Михалыч остался. Он не мог объяснить, почему. Может, потому, что человек на ящике всё ещё казался живым — таким правильным было его лицо. Может, потому, что в нише было что-то ещё, что не отпускало.

Он поднял фонарь выше.

На кирпичной кладке за спиной человека был вырезан

знак. Три зубца, средний длиннее, с косой перекладиной внизу. Михалыч видел такой на старых кирпичах в Измайлове, где работал его отец; артель помечала так инструмент, чтобы не украли. Но здесь знак был вырезан глубоко, с нажимом, и линии были ровные, как по линейке.

На человеке был пиджак с нагрудным карманом. В кармане — конверт. Белый, плотный, с восковой печатью. Михалыч наклонился ближе, стараясь не дышать, и прочитал:

«Даниилу Романовичу Вешнякову. Лично».

Он не знал, кто это. Но он знал, что покойники не пишут писем.

У Михалыча была дочь. Тридцать лет, жила в Подольске, звонила по воскресеньям. Он подумал: если с ней что-то случится, кто напишет ему? И тут же одёрнул себя. Не о том думаешь, старик.

За спиной, далеко, хлопнула дверь, и в коллектор ворвался шум города — как будто включили звук.

* * *

2. Трезуб

Полковник Величко приехала через сорок минут, и первое, что она сделала, — выгнала всех из ниши.

— Вы, вы и вы — на поверхность. Оцепление до конца улицы. Никаких телефонов, никаких «сфоткать для мамы». Кто тронет кирпич — поедет оформлять пенсию по инвалидности.

Она говорила тихо, и от этой тихости люди двигались быстрее, чем от крика.

Наверху уже собиралась толпа. Соседи в халатах, курьеры с жёлтыми сумками, две женщины с собаками, которые лаяли на всё, что двигалось. Кто-то снимал на телефон. Величко велела отогнать машины и накрыть люк брезентом; она знала, что через двадцать минут приедет пресса, а через сорок — начальство, и что брезент — единственное, что может помешать им увидеть то, чего она ещё не понимала.

Анна Сергеевна Величко была в тёмном пальто поверх серого костюма, волосы забраны так аккуратно, что казались нарисованными. На шее — тонкая цепочка с медальоном-монетой, единственное украшение. Она спустилась в коллектор в резиновых сапогах, которых не постеснялась бы любая доярка, и теперь стояла перед телом, сложив руки на груди.

— Гуров приехал? — спросила она.

— В машине греется, — сказал майор из отдела. — Говорит, у него ботинки не по погоде.

— Пусть греется. Тело не убежит.

Она медленно обошла нишу. Заикин — она уже знала фамилию по документам в пиджаке — сидел на ящике, выпрямив спину. Голова склонена к левому плечу, глаза закрыты. Нижняя челюсть чуть отвисла. Если бы не руки и не тёмное пятно на рубашке, его можно было бы принять за человека, который уснул на работе.

— Язык? — спросила Величко у судмедэксперта.

— Удалён. Почти полностью. Аккуратно, одним движением. — Эксперт, пожилой мужчина в очках с толстыми линзами, говорил так, будто обсуждал погоду. — Кисти — тоже. Жгут наложен при жизни, чтобы не истёк. Он жил ещё какое-то время. Может, полчаса. Может, час.

— То есть убийца не спешил.

— Убийца работал как хирург. Или как переплётчик.

Величко запомнила слово. Переплётчик. Она ещё не знала, что через три дня оно вернётся.

Величко посмотрела на кирпич. Знак был вырезан на уровне лица сидящего. Если встать на колени, он окажется прямо перед глазами.

— Это трезуб? — спросила она.

— Похоже, — сказал эксперт. — Но не совсем. У трезуба зубцы симметричные. Здесь средний длиннее, а нижняя перекладина косая. Я видел такой на печатях.

— На каких печатях?

— На княжеских. Рюриковичи. Владимир Святой, кажется. Но я не историк.

Величко сфотографировала знак на телефон и отправила Гурову. Подписала: «Похоже?» Через минуту пришёл ответ. «Похоже. Но я не историк». Она усмехнулась и убрала телефон.

— У нас будет историк, — сказала Величко.

Она надела перчатки и присела у тела. На правой руке, вернее, на том, что от неё осталось, был пришит лист. Не приклеен, не приколот — пришит толстой ниткой, в три стежка, как пришивают тетрадь к переплёту. Жёлтая бумага, плотная, с бурыми пятнами; по краю — обрез, ровный, как у книги.

— Лист старый, — сказала Величко. — Настоящий?

— Похоже, — сказал эксперт. — Не факсимиле. Бумага тряпичная. Такую делали до девятнадцатого века.

— Он что, вырвал страницу из музея?

— Если и вырвал, то очень давно. Или у него их много.

«Или у него их много», — повторила Величко про себя. Она представила человека, у которого много старых страниц. Не коллекционера. Коллекционеры хранят. Этот — тратил.

В нише стало тихо. Где-то капала вода — редко, через длинные промежутки, и каждый раз Величко вздрагивала внутренне, хотя лицо оставалось спокойным.

— Конверт, — сказала она.

Майор протянул пакет. Конверт был вскрыт аккуратно, с боковой стороны, и внутри лежал сложенный вчетверо лист. Величко развернула его пинцетом.

Стихи. Церковнославянская вязь, крупная, с завитками. Четырнадцать строк. Внизу — маленькая буква, отдельно, будто подпись: «Ъ».

— Лингвист смотрел?

— Смотрел. Говорит, церковнославянский, но не совсем. Говорит, «стихизация». И ещё говорит, что это не он.

— Кто «не он»?

— Не он писал. Почерк не тот. Он говорит, это печатный шрифт, но буквы как будто...

— Что?

— Как будто их резали, а не писали. — Майор пожал плечами. — Я передаю, что сказали.

Величко сложила лист обратно в пакет.

— Где Заикин работал?

— «СтройИнвест-Капитал». Застройщик. Взял в позапрошлом году участок на Гончарной, под гостиницу. Там был старый корпус, бывшая фабрика. Он его снёс.

— Снёс?

— Сгорел. Дважды. Первый раз — в двадцать втором. Второй — через полтора месяца. Дело закрыли.

Величко подняла глаза.

— Кто закрыл?

— Прокурор Ельцов. — Майор заглянул в телефон. — Он

сейчас в прокуратуре, на Ильинке. Хотите, я...

— Не хочу.

Она ещё раз посмотрела на тело. На лице Заикина не было страха. Только усталость — такая глубокая, будто он умер не час назад, а много лет.

— Гурова ко мне, — сказала Величко. — И найдите мне Вешнякова.

— Кого?

— Профессора. Даниил Романович. Историк книги. — Она кивнула на конверт. — Он уже приглашён.

* * *

3. Профессор

Даниил Романович Вешняков читал лекцию о подделках, когда в аудиторию вошли двое в штатском.

Он заметил их сразу — не потому, что они были подозрительны, а потому, что были единственными, кто не записывал. Студенты в третьем ряду снимали на телефоны. Девушка у окна — Лиза, лучший палеограф курса, — рисовала в блокноте не конспект, а его, Вешнякова: сутулую фигуру, перо в кармане, мешковатую куртку. Парень с гитарным чехлом спал, положив голову на руку, и просыпался ровно на тех фразах, которые потом оказывались в билетах. Двое у двери стояли ровно, как шахматные фигуры, и смотрели на него.

— ...Итак, — сказал Вешняков, — чем подделка отличается от копии?

Он прошёлся вдоль кафедры, заложив руки за спину. Куртка-поло, старая, с потёртыми локтями, была расстёгнута; в нагрудном кармане торчало перо — тонкое, металлическое, с потемневшим кончиком. Он не писал им двадцать лет. Он вообще не писал перьями. Просто носил.

— Копия говорит: «Я — копия». Она честна. Она указывает на оригинал, как на старшего брата. Подделка говорит: «Я — оригинал». Она отнимает у кого-то имя. — Он остановился. — В этом смысле подделка — не художество. Это

убийство. Она убивает автора и занимает его место.

Он достал из папки лист — ксерокопию грамоты.

— Вот подделка девятнадцатого века. Продавец уверял, что это жалованная грамота Ивана Грозного. Бумага правильная, чернила правильные, печать правильная. Ошибка в одном: писец написал «царь» там, где должно быть «государь». — Он обвёл пальцем слово. — Его выдала не жадность и не глупость. Его выдала привычка. Он жил в стране, где уже говорили «царь», и не мог представить, что когда-то говорили иначе.

Аудитория затихла. Он любил эту тишину — не тишину зала, а тишину людей, которые вдруг слышали не то, что ждали.

— Поэтому, — продолжил он, — когда вы читаете лекцию и чувствуете, что она слишком правильная, слишком складно объясняет всё, — не радуйтесь. Это не признак правды. Это признак редактора. Настоящий текст всегда заикается. Настоящая жизнь всегда с опечатками.

Он сказал это и сам услышал, как сказал. Ирма говорила то же самое, только про картины. «Настоящая живопись всегда с пометкой. Идеальная живопись — это реклама». Он не знал, почему вспомнил её сейчас. Может, потому, что в аудитории пахло мокрыми куртками, а её пальто всегда пахло скипидаром.

Он посмотрел на дверь. Один из штатских чуть приподнял руку — вежливо, как студент.

— Профессор Вешняков? Полковник Величко. Следственный комитет. — Женщина. Голос низкий, спокойный. — Нам нужна ваша консультация. Это не займёт много времени.

— У меня ещё двадцать минут, — сказал он.

— У нас — меньше.

Они вышли в коридор. Там пахло мокрыми куртками и кофе из автомата. Величко протянула ему планшет.

— Посмотрите.

Он взял планшет и увидел тело.

Вешняков смотрел долго. Не потому, что не мог отвести глаз, — потому что искал. Он смотрел на позу: спина прямая, голова склонена, левая рука (вернее, её отсутствие) на доске, правая приподнята. Так сидели писцы на миниатюрах: чуть боком, чтобы не заслонять свет. Так сидел писец в «Сказании о князьях Владимирских» — он вспомнил миниатюру из собрания РГБ, тёмно-синий фон, золотая кайма.

Но было что-то ещё. Что-то, что не совпадало. Он увеличил фотографию. Ноги Заикина были поставлены вместе, носки врозь, как у человека, который стоит, а не сидит. И на коленях — светлый прямоугольный след. Как будто на них что-то лежало. Книга. Он держал её, когда ему отрезали руки.

— Кто он? — спросил Вешняков.

— Виктор Игнатьевич Заикин. Застройщик.

— Богатый?

— Очень.

— Тогда это не ограбление. — Вешняков увеличил фотографию кирпича. — И не месть.

— Почему?

— Потому что месть не тратит время на композицию.

Он увидел знак. И замолчал.

Знак был вырезан глубоко, с наклоном; средний зубец длиннее, нижняя перекладина косая. Вешняков знал этот знак. Он видел его сотни раз — на печатях, на перстнях, на пергаментных грамотах. Это был знак Владимира Святославича, крестителя Руси: трезуб с косой перекладиной. Историки спорили, что он означал: птицу, парус, слово «власть», родовую тамгу. Никто не знал точно. Но все узнавали.

Он знал этот знак ещё и по другой причине. Три года назад, разбирая вещи жены, он нашёл в её блокноте рисунок — тот же трезуб, нарисованный карандашом. Под ним была подпись, сделанная её рукой: «Не трогай. Он читает». Вешняков тогда решил, что это записка к картине. Ирма часто писала на полях такие вещи — короткие, непонятные, как пароль. Он не придавал значения. Мало ли что рисует реставратор, работающий с древностями.

Теперь он смотрел на этот знак и чувствовал, как у него холодеет затылок.

— Профессор? — сказала Величко.

— Да. — Он вернул планшет. — Я приеду.

— Я не сказала, куда.

— В морг. Или на место. — Он посмотрел ей в глаза. — Вы пришли не за консультацией, полковник. Вы пришли за переводом. Значит, вам нужен не историк, а тот, кто читает то, что написано между буквами. Это я.

Величко чуть склонила голову.

— Тогда поедemте сейчас.

— Мне нужно взять пальто.

— Оно на вас.

Вешняков посмотрел на свою куртку. Потом на часы, которых у него не было.

— Хорошо, — сказал он. — Но учтите: я не эксперт по маньякам.

— У нас есть эксперт по маньякам, — сказала Величко.

— Нам нужен эксперт по людям, которые пишут.

* * *

4. Перевёрнутый акростих

В морге пахло холодом и формалином. Вешняков никогда не привык к этому запаху. Он вёл семинары по палеографии, где студенты жаловались на пыль, и посмеивался; но здесь, среди цинковых столов и белых плиток, ему казалось, что он слышит, как тикают часы, которых нет.

Тело уже лежало на столе. Простыня была откинута до груди. Вешняков старался смотреть на лицо.

— Язык, — сказал судмедэксперт. — Кисти. Прижизненно.

— Чем? — спросил Вешняков.

— Переплётным ножом. Лезвие короткое, с косой заточкой. Таким режут кожу и картон. — Эксперт помолчал. — И ещё. На запястьях — след клея. Костного. Такой варят, когда переплетают книгу.

Вешняков посмотрел на свои руки. Он представил, как убийца раскладывает инструменты на чистой тряпке, проверяет лезвие, ждёт, пока клей нагреется. Аккуратно. Без спешки. Как будто собирает книгу.

— Я понял.

Он надел перчатки.

Лист лежал в отдельном пакете, на металлическом подносе. Вешняков взял его пинцетом, поднёс к лампе и повернул к свету.

Бумага была старая, но не ветхая. Тряпичная, с неровными краями; по краю — тонкая цепочка водяных знаков, почти невидимая. Он знал такие: середина шестнадцатого века, Западная Русь, Вильно или Львов. На листе был напечатан текст — не рукописный, а наборный, шрифт с длинными выносными буквами. И поверх текста, прямо по печатным строкам, шёл другой текст, написанный от руки.

— Это страница из «Требника», — сказал Вешняков. — Или из «Служебника». Напечатана... — он навёл лупу, — в Вильне. Около тысяча пятьсот восьмидесятого. У Мамоницей.

— У кого?

— Издатели. Отец и сын. Печатали православные книги, когда это было почти подвигом.

— А второй текст?

Вешняков перевернул лист. На обороте была чистая бумага — нет, не чистая: в углу стояла маленькая цифра, «и» — то есть восемь. И больше ничего.

— Второй текст — акrostих, — сказал он. — Смотрите: каждая строка начинается с большой буквы, а остальные буквы — строчные. Здесь четырнадцать строк.

Церковь спит, и стража спит, и близок конец.

Есть во тьме моя свеча и моя стена.

Слово Божие сокрыл я. Вот мой дар.

И над книгой встала каменная тень.

Плачь, писец: я замуровал солнце в склеп.

Я оставил тебе знак и первый удар.
Буквы сложатся в слова, а слова — в огни.
Если примешь их — увидишь мой след.
Ты найдёшь моё имя — и моё острё.
У последней страницы тебя ждёт завет.
Дверь одна. И на двери — мой знак.
Жди, когда над Коломенским встанет звон.
Знай: под спудом лежит не книга — страна.
Аз есмь глас твой, и твой огонь, и твой храм.

Ъ

— Если сложить первые буквы... — Он посмотрел на столбик. Получалось: Ц, Е, С, И, П, Я, Б, Е, Т, У, Д, Ж, З, А.

— «Цесипябетуджза», — прочитала Величко. — Это не слово.

— Это не слово, — согласился Вешняков. — Потому что читать надо снизу вверх.

Он положил лист под лампу и прикрыл глаза. Потом открыл. Почему-то в морге стало ещё тише.

— «Аз жду тебя, писец», — сказал он.

Слова повисли в воздухе. В соседней комнате кто-то открыл кран, и вода ударила в раковину — резко, как аплодисмент.

Величко молчала.

— Аз — это «я», — сказал Вешняков. — Первая буква

кириллицы. И последняя строка — не строка. Это отдельная буква «Ъ». Твёрдый знак. Ер. В церковнославянском «азь» пишется с ером. Но здесь он стоит отдельно, оторванный от слова. Как подпись.

— «Азь жду тебя, писец», — повторила Величко. — Это угроза?

— Нет. — Вешняков отложил пинцет. — Это приглашение.

Он отошёл от стола и сел на белую табуретку у стены. Ноги вдруг стали ватными. Он не мог объяснить почему. Может быть, дело было в букве «Ъ» — в этой маленькой немой букве, которая стояла в конце, как человек, который не может говорить, но всё слышит.

— Полковник, — сказал он. — У вас есть зеркало?

— Зачем?

— Я хочу проверить. — Он улыбнулся, и улыбка вышла кривой. — Если он писал для меня, он должен был знать, что я буду читать не так, как все. Он рассчитывал на мою привычку смотреть на текст с изнанки.

Величко достала из сумки косметичку. В ней было маленькое зеркальце в металлической оправе. Вешняков взял его и поднёс к правому краю листа. В зеркале концы строк стали началами — ровный столбик букв, который он проглядел.

— «Царь придёт к нам», — прочитал он. — Сверху вниз, по последним буквам. Ц, А, Р, Ъ...

— Это про Христа? — спросила Величко.

— Нет. — Он отвёл зеркало. — Про нас. И про Кремль.

— Он помолчал. — Пасха в этом году двенадцатого апреля. Через два дня. Он говорит, что царь придёт к нам. Не тот, который сидит во дворце. Тот, которого ждут.

Величко забрала зеркальце.

— Профессор, кто такой «писец»?

Вешняков посмотрел на тело. На Заикина. На его лицо, на котором не было страха.

— Я, — сказал он. — Он пишет мне.

Величко посмотрела на него так, как смотрят на человека, который сказал вслух то, о чём все думали.

— Почему вы?

— Не знаю. — Он посмотрел на лист. — Но он знает, что я приду. И это худшее из всего, что здесь есть.

* * *

5. Руки

В Калуге шёл дождь.

Дом стоял на склоне, за церковью, в которой он служил восемь лет. Деревянный, с резными наличниками, выкрашенными в зелёное; наличники облупились, и зелень была похожа на мох. В саду цвела вишня, и лепестки прилипали к мокрому стеклу.

Он вошёл в дом, не зажигая света. Снял плащ, повесил на гвоздь, поставил трость в угол. Трость была из тёмного ореха, с серебряной головкой в виде птицы; он купил её в прошлом году, когда понял, что лестница стала слишком крутой.

На столе ждал диктофон. Он нажал кнопку.

— ...я не знал, — сказал голос. Мужской, хриплый, с той особой интонацией, когда человек говорит правду не потому, что хочет, а потому, что больше не может. — Я не знал, что там была девочка. Мне сказали: пустой корпус. Мне сказали: никого.

Он перемотал.

— ...я подписал. Я подписал всё, что они дали. Я боялся. Он перемотал ещё раз.

— ...простите. Простите меня. Я не хотел.

Он выключил диктофон и посмотрел на свои руки.

Руки лежали на столе, как две чужие вещи. Пальцы были длинные, красивые, с ухоженными ногтями; когда-то ими он

держал чашу, крест, книгу. Теперь они дрожали. Не сильно — мелко, как дрожит стрелка часов, когда её трогает сквозняк. Он сжал правую в кулак. Кулак сжался не до конца: мизинец остался торчать.

Он знал, что будет дальше. Сначала слабость в кисти, потом в предплечье, потом в ногах. Потом — горло. Врач говорил: «Годы. Может, три, может, пять». Прошло два. Он чувствовал, как время уходит не днями, а страницами.

Он не боялся смерти. Он боялся, что не успеет. Каждое утро он просыпался и проверял руки: сжать, разжать, поднять чашку. Пока получалось. Пока — получалось.

На стене висел рисунок. Детский, цветными карандашами: огонь и буквы. Огонь был нарисован рыжим и красным, буквы — чёрным, и они летели вверх, как искры. Внизу подпись: «Вера, 9 лет». Он не снимал рисунок четыре года. Стекло под рамкой пожелтело.

Он помнил, как она его рисовала. Ей было девять. Она сидела на полу в мастерской Ирмы, среди банок с кистями, и рисовала огонь. Он спросил: «Почему огонь?» Она сказала: «Потому что он всё забирает». Он тогда засмеялся. Теперь он думал, что она была права.

Он подошёл к компьютеру. Открыл шахматный сайт. Партия с «Переписчиком» ждала его хода уже третий день. Он посмотрел на доску, подумал минуту и двинул пешку с e2 на e4. Потом закрыл ноутбук.

«Переписчик» играл странно. Он не старался выиграть.

Он ставил фигуры так, чтобы получился рисунок, — и знал, что противник пока его не видит.

В дверь позвонили.

Он не вздрогнул. Он давно перестал вздрагивать. Он подошёл к двери и посмотрел в глазок. На крыльце стояла женщина с зонтом, в плаще, с сумкой. Соседка. Она приносила ему продукты по вторникам.

Он открыл.

— Артём Львович, — сказала она. — Вы просили творог. И ещё это... — Она протянула ему конверт. — Вам письмо. В ящике было.

Он взял конверт. Белый, плотный, без марки. На обороте — ничего.

— Спасибо, — сказал он. — Творог поставьте на кухне.

Он закрыл дверь и вскрыл конверт.

Внутри был лист — тонкий, желтоватый, с неровным обрезаем. Тот же «Требник». Та же страница. Только на этот раз поверх печатного текста шла одна строка, написанная знакомым уставом:

«Мы знаем, кто вы. Остановитесь, пока не поздно. Братство помнит».

Он прочитал. Потом улыбнулся — не зло, а устало, как улыбаются человеку, который опоздал на двадцать лет. И посмотрел на свои руки.

Сегодня они слушались.

— Значит, вы тоже читаете, — сказал он вслух.

Он подошёл к плите, зажёг газ и подержал лист над огнём. Бумага занялась быстро, с сухим треском. Он смотрел, как темнеют буквы: сначала исчезли поля, потом строки, потом подпись. Огонь не разбирал, что жечь. Огонь был честнее людей. Пепел он ссыпал в раковину и смыл водой.

— Поздно, — сказал он. — Я уже начал.

* * *

6. Первый допрос

— Вы понимаете, что это конфликт интересов?

Величко сидела напротив него в кабинете на Петровке, и на столе между ними лежала папка. Тонкая. Вешняков знал, что в таких папках обычно лежит чужая жизнь, сжатая до трёх листов.

— Понимаю, — сказал он.

— Ваша жена погибла в том же здании. В том же пожаре.

— В другом пожаре. — Он сказал это слишком быстро.

— Первый был в октябре. Второй — в ноябре. Между ними — шесть недель. Ирма погибла во втором.

Величко подняла глаза. Она услышала скорость. Он понял, что она услышала.

— Вы знали её?

— Знал.

— Насколько?

— Достаточно, чтобы не хотеть говорить об этом в протокол. — Он помолчал. — Полковник, у вас есть личная жизнь?

— Нет.

— У меня была.

Величко открыла папку.

— Ирма Матвеевна Каплан. Реставратор. Тридцать восемь лет. Погибла четырнадцатого ноября две тысячи два-

дцать второго. Причина смерти — отравление продуктами горения. Здание — бывшая шёлкоткацкая фабрика на Гончарной, корпус «Б». Собственник — «СтройИнвест-Капитал». Генеральный директор — Заикин. — Она подняла глаза. — Вы знали, что Заикин — собственник?

— Знал.

— И молчали?

— Вы не спрашивали.

— Я спрашиваю сейчас.

Вешняков посмотрел в окно. За окном была Москва — серая, мокрая, с крышами, на которых лежал снег, хотя был апрель. Снег был грязный, как старая вата.

— Я не считал это важным, — сказал он. — Заикин — собственник. Собственников в Москве больше, чем историков. Он не поджигал здание сам. У него для этого есть люди.

— Вы циник.

— Я историк. Это то же самое, только с источниками.

— У нас есть сведения, что поджог был.

— У вас есть сведения. — Вешняков усмехнулся. — Полковник, я двадцать лет работаю с документами. Я знаю, как выглядит «сведения». Это слово, которым прикрывают отсутствие доказательств.

Величко закрыла папку.

— Хорошо. Тогда скажите мне, профессор, как выглядит доказательство. — Она положила перед ним фотографию листа. — Вот текст. Вы сказали: «Азь жду тебя, писец». Что

ещё вы видите?

Вешняков надел очки. Очки были старые, в тонкой металлической оправе, и он надевал их только когда не хотел, чтобы видели его глаза.

— Бумага. — Он провёл пальцем над листом, не касаясь. — Тряпичная. Середина шестнадцатого века. Но лист не старый. То есть старый, но не ветхий. Он хранился в хороших условиях. В книге. Его вырезали, а не вырвали: обрез ровный, ножом. — Он перевернул фотографию. — На обороте — цифра «и». Это восемь. Номер страницы или тетради. Если мы найдём книгу, из которой он вырезан, мы найдём и убийцу.

— Или его библиотеку.

— Или его библиотеку, — согласился Вешняков. — Но это не главное.

Он не сказал ей, что уже видел такую страницу. Двадцать лет назад. В семинарской библиотеке, где «Требник» 1580 года стоял на полке, как обычная книга, и где восьмая страница была вырезана и вклеена заново. Тогда ему велели забыть. Он не забыл, но и не вспоминал — до сегодняшнего дня.

— А что главное?

Он помолчал.

— Почерк, — сказал он. — Точнее, его отсутствие. Текст напечатан, а сверху написан от руки. Но рука, которая писала, не принадлежит нашему времени. Она принадлежит че-

ловеку, который учился писать по прописям. Не по школьным — по церковным. Он выводит буквы так, как выводят их в семинарии: с нажимом, с утолщением, с «поклоном» перед каждой строкой. Это не стилизация. Это привычка.

— Вы хотите сказать, что убийца — священник?

— Я хочу сказать, что он знает, как пишут священники.

— Вешняков снял очки. — Это не одно и то же. Но круг сужается.

Величко записала что-то в блокнот.

— Ещё, — сказал он. — Он не врёт.

— Почему вы так решили?

— Потому что в стихотворении нет ни одного слова, которое нельзя было бы понять буквально. «Я жду тебя». «Приди». «Царь придёт к нам». Он не угрожает. Он назначает встречу. — Вешняков постучал пальцем по фотографии. — И ещё: он называет себя «Азь». Не «Грамотей», не «Судья», не «Ангел». «Азь» — это «я». Самое простое слово. Он не прячется за титулом. Он говорит: это я. Приди и посмотри.

— И вы пойдёте?

Вешняков посмотрел на неё. Она была красивая — той неправильной, неудобной красотой, которая мешает в профессии; должно быть, ей часто говорили про подбородок, а она думала про экзамен на адвоката.

— Пойду, — сказал он. — Но не туда, куда он зовёт. Туда, куда он не зовёт.

В дверь постучали. Вошёл майор с телефоном в руке.

— Анна Сергеевна. Второй.

Величко встала.

— Где?

Майор посмотрел на Вешнякова и замялся.

— В прокуратуре. На Ильинке. Ельцов.

Вешняков увидел, как у Величко дрогнула рука. Она положила её на спинку стула, будто ей вдруг стало нужно за что-то держаться.

— Едем, — сказала она.

* * *

7. Глаза

Прокурор Ельцов сидел в своём кабинете, в кресле, спиной к окну.

Он был в рубашке, без пиджака; пиджак висел на вешалке у двери, аккуратно, как в магазине. На столе стояла чашка чая, уже остывшего, и лежала раскрытая книга — большая, в тёмном переплёте, с гравюрами. На коленях — ещё одна гравюра, отдельным листом, в стеклянной рамке.

Глаз у него не было.

Величко стояла в дверях и смотрела. Она видела многое. Она видела тело, которое выловили из Москвы-реки через месяц, и тело, которое пролежало в квартире две недели, и тело, которое убийца аккуратно уложил в постель, подоткнув одеяло. Но такого она не видела.

Здесь не было ни крови, ни беспорядка. Здесь был порядок. Чашка стояла на подставке. Пиджак висел ровно. Гравюра лежала на коленях так, будто её положили по линейке. И от этого порядка ей стало холоднее, чем от любой крови.

— Кто его нашёл? — спросила она.

— Секретарь, — сказал оперативник. — В восемь утра. Дверь была заперта изнутри. Ключ в замке. Окно закрыто. Сигнализация не сработала.

— Камеры?

— В коридоре камера сдохла вчера в двадцать три сорок.

Ровно за минуту до того, как он вошёл.

— Кто «он»?

— Пока не знаем. В кабинет никто не входил. По камерам — только Ельцов, в двадцать три тридцать девять. И всё.

Величко подошла к столу. Гравюра на коленях была из «Апокалипсиса» Дюрера: всадники, трубы, ангелы. Она узнала её смутно — в детстве у бабушки была книга с картинками, и она боялась смотреть на страницу с драконом.

Она вспомнила брата. Максим в детстве боялся этой гравюры — всадника на бледном коне, с весами в руке. Он говорил: «Он взвешивает людей». Она смеялась. Теперь она смотрела на гравюру и думала: а если он и правда взвешивает?

— Он что, читал перед смертью? — спросила она.

— Похоже, ему читали, — сказал судмедэксперт. — Или он слушал. На столе — плеер. Один наушник в ухе. Второй — на столе.

Величко посмотрела на плеер. Маленький, чёрный, с проводом. Она нажала кнопку. Из наушника послышался голос — тихий, спокойный, с той самой интонацией, которую она уже слышала сегодня утром в морге, хотя тогда это был не голос, а текст.

— «...и я видел, как он открыл первую печать, — говорил голос. — И вышел всадник. Ему дано было взять мир с земли...»

Она выключила.

— Это Откровение, — сказала она. — Глава шестая.

Она знала это не потому, что читала Библию. Она читала её в институте — курс по искусству Северного Возрождения. Дюрер, «Апокалипсис», пятнадцать гравюр. Преподаватель говорил: «Апокалипсис — это не конец. Это жанр. Люди всегда думают, что живут в последние времена. Это льстит им».

Судмежэксперт кивнул.

— На гравюре — то же самое. Первый всадник.

Величко обошла кресло. На стене за Ельцовым висела полка с кодексами; несколько книг лежало на полу, раскрытых. На подоконнике — пепельница, полная окурков. Он не курил при людях. Только здесь, один.

На его левой руке, на тыльной стороне, было вырезано что-то тонкое, как паутина. Величко наклонилась. Три зубца. Тот же знак.

— Лист? — спросила она.

— В кармане. — Эксперт указал на пиджак. — Внутренний карман.

Лист был сложен вчетверо. Величко развернула его пинцетом. Семь строк. Церковнославянская вязь. Внизу — та же буква: «Ъ».

— Вешнякова сюда, — сказала она. — Немедленно.

Она вышла в коридор и прислонилась к стене. Коридор был длинный, с зелёными стенами и лампочками в металлических сетках. Пахло кофе и хлоркой. Она достала телефон и посмотрела на часы: 9:40. До Пасхи оставалось меньше двух

суток.

Потом она позвонила Гурову.

— Лёня. Второй. Прокурор.

— Кто?

— Ельцов. Тот, который закрыл дело о пожаре.

На другом конце провода помолчали.

— Аня, — сказал Гуров. — Ты понимаешь, что он делает?

— Пока нет.

— Он не убивает. Он *редактирует*. — Гуров говорил тихо, без обычной своей шутливости. — Сначала тот, кто заказал огонь. Теперь тот, кто его прикрыл. Следующий — тот, кто молчал.

Величко посмотрела на дверь кабинета.

— Пожарный, — сказала она. — Свидетель. Никитин.

— Найди его первым, — сказал Гуров. — И не говори никому, кого мы ищем.

— Почему?

— Потому что наш убийца читает те же документы, что и мы. И, судя по всему, быстрее.

* * *

8. Молитва

Вторую записку Вешняков читал в машине, по дороге в прокуратуру.

Лист был меньше первого, тоньше, почти прозрачный на свету. Семь строк. Он перевернул его, посмотрел на просвет, потом достал из кармана лупу — маленькую, складную, в латунной оправе. Подарок Ирмы. Она смеялась, что он с ней похож на ювелира, который боится пропустить бриллиант.

Он прочитал вслух:

На всякое дыхание — свой час.

Ищи того, кто молчал у огня.

Кто видел — да не сказал.

Имя его — как пепел на губах.

Ты найдёшь его там, где молчат.

Ибо молчание — тоже подпись.

Ныне он — моя страница.

Он опустил лист.

— Первые буквы, — сказал он.

Величко, сидевшая рядом, не отрывала глаз от дороги.

— Что?

— Первые буквы строк. — Он провёл пальцем по воздуху.

— «Н», «И», «К», «И», «Т», «И», «Н».

— Никитин.

— Никитин.

Машина свернула на Ильинку. За окном проплыла стена Китай-города, красная, с белыми зубцами, похожая на декорацию.

— Он называет следующего, — сказала Величко. — За чем?

— Потому что он не прячет игру. — Вешняков сложил лист. — Он хочет, чтобы мы успели. Иначе какая это игра?

— Или он хочет, чтобы мы пришли и посмотрели.

— Тоже возможно.

Величко остановила машину у прокуратуры. Не заглушила двигатель.

— Профессор. Вы понимаете, что это значит?

— Что он знает, кто такой Никитин, где он живёт и чем виноват. — Вешняков посмотрел на неё. — И что он знает, что мы придём к Никитину. Он писал не для вас. Он писал для меня.

— Почему для вас?

— Потому что я единственный, кто читает первые буквы снизу вверх, — сказал он. — И потому что он хочет, чтобы я увидел, как он работает. Он не убийца, полковник. Он автор. А я — его читатель.

Величко смотрела на него долго.

— Вы говорите о нём с уважением, — сказала она.

— Я говорю о нём как о тексте, — сказал Вешняков. — Это не одно и то же.

— А если текст плохой?

— Тогда я скажу ему об этом. — Он открыл дверь. — Лично.

Он вышел из машины и захлопнул дверь.

* * *

9. Библиотека

Вечером он поехал в библиотеку.

Не в РГГУ, где у него был кабинет с видами на Миусскую площадь, а в старый корпус Ленинки, на Воздвиженке, где в отделе рукописей работал Игнат Порфирьевич Бабурин.

Бабурин был легендой. Семьдесят четыре года, палочка, очки с одним треснувшим стеклом, которое он не менял из суеверия. Он знал фонды так, как другие знают свой район: по запахам, по скрипам, по тому, где какая лестница поворачивает. Говорили, что он может найти рукопись по описанию переплёта, не заглядывая в каталог. Вешняков однажды проверил: загадал шифр, назвал только цвет и запах — Бабурин принёс через двадцать минут.

— Даниил Романович, — сказал Бабурин, не поднимаясь. Он сидел за столом, заваленным карточками, и разбирал их, как пасьянс. — Давно не заходили.

— Работал.

— Слышал. — Бабурин поднял глаза. — Вы теперь консультируете по делу Грамотея.

Вешняков сел напротив.

— Уже и вы знаете?

— Я знаю всё, что пишут в газетах, и половину того, что не пишут. — Бабурин отложил карточку. — Чем я могу помочь?

Вешняков положил на стол фотографию листа.

— Вот. Страница из «Требника». Вильно, около тысяча пятьсот восьмидесятого. Мне нужно знать, из какого экземпляра.

Бабурин взял фотографию, поднёс к лампе. Его лицо стало другим: не лицо старика, а лицо охотника, который услышал шорох.

— Мамони́чи, — сказал он. — «Требник» Петра Могилы? Нет, раньше. — Он провёл пальцем по краю. — Видите водяной знак? Голова быка с крестом. Это бумага из Лейпцига. Партия была небольшая. Половина ушла в Вильну, половина — в Киев. — Он посмотрел на Вешнякова. — Откуда у вас это?

— Из конверта.

— А конверт?

— От убийцы.

Бабурин не удивился. Он положил фотографию на стол и долго смотрел на неё.

— В Москве есть только один полный экземпляр этого требника, — сказал он. — В моём фонде. Я его описывал в тысяча девятьсот восемьдесят втором году. — Он поднялся, взял палочку. — Идёмте.

Они спустились в хранилище. Здесь было прохладно и пахло старой кожей; на полках стояли тысячи книг, и казалось, что они дышат — медленно, как спящие.

Бабурин подошёл к шкафу, отпер его ключом, висевшим

у него на шее, и вынул тяжёлый том в тёмном переплёте.

— «Требник». Вильна. 1580. — Он положил книгу на стол и открыл. — Страница восьмая. Вот она.

Вешняков посмотрел. Страница была на месте.

— Целая, — сказал он.

— Целая, — согласился Бабурин. — Но посмотрите на обрез.

Вешняков наклонился. Обрез был ровный, как у всех книг, но в одном месте — едва заметная неровность, будто кто-то примеривался ножом и отступил.

— Он был здесь, — сказал Вешняков. — Он держал эту книгу.

— Кто-то держал, — сказал Бабурин. — В восемьдесят втором я не заметил. — Он помолчал. — В девяносто первом, когда я делал сверку, тоже не заметил. Знаете, что это значит?

— Что он приходил сюда.

— Или что он работал здесь. — Бабурин закрыл книгу. — Даниил Романович, вы ищете человека, который знает фонды не хуже меня. Может быть, лучше.

Вешняков посмотрел на книгу. Потом на Бабурина.

— Игнат Порфирьевич. Вы когда-нибудь слышали о Библиотеке Ивана Грозного?

Бабурин не ответил сразу. Он убрал книгу в шкаф, запер его, повесил ключ на шею.

— Слышал, — сказал он. — Все слышали. — Он повер-

нулся. — Но я вам вот что скажу, Даниил Романович. Книги не молчат. Молчат те, кто их читал и понял слишком много. — Он пошёл к выходу, стуча палочкой. — И ещё. Если он оставил вам страницу из этой книги, значит, у него есть остальные. А если у него есть остальные, значит, у него есть книга, из которой он их вырывает. И это не требник.

Вешняков догнал его на лестнице.

— А что?

— Не знаю. — Бабурин остановился. — Но я бы на вашем месте спросил, кто в Москве мог продать ему такую книгу. И зачем.

Он поднялся на две ступеньки и добавил, не оборачиваясь:

— И ещё, Даниил Романович. Не приводите ко мне больше полицию. Я старый человек. Я хочу умереть в своей постели, а не в интересной истории.

* * *

10. Человек в эфире

К вечеру пятницы у Москвы появилось имя.

«Грамотей» — так его назвали в телеграм-каналах, ещё до того, как о нём написали газеты. Название придумал кто-то из редакции «Московского вестника»: «Маньяк, который считает себя грамотеем». Оно прилипло, как ярлык на чемодан.

К десяти часам под окнами прокуратуры стояли журналисты. К одиннадцати — у здания СКР на Петровке. К полудню в сети гуляла фотография обложки «Требника» с сайта библиотеки, и кто-то уже строил теории о «масонском следе».

Вешняков ехал в машине с включённым радио. Он не слушал новости двадцать лет; теперь слушал каждые полчаса.

— ...эксперты расходятся во мнениях, — говорила ведущая. — Одни считают, что убийца подражает средневековым казням, другие — что он страдает редким психическим расстройством...

Он переключил.

— ...мы пригласили в студию историка и публициста, автора подкаста «Слово и тьма» Артёма Белояра...

Вешняков замер. Имя он знал. Артём Белояр. Двадцать лет назад они вместе учились в семинарии; потом Белояр ушёл в историю, защитил диссертацию, принял сан, стал известен. Вешняков слышал о нём краем уха: то ли он ушёл

из церкви, то ли его ушли. В прошлом году кто-то из коллег упоминал его подкаст — «лучший голос о вере и культуре». Вешняков не слушал. У него не было времени на голоса.

— Артём Львович, — сказала ведущая. — Вы слышали о том, что произошло?

— Слышал. — Голос был низкий, спокойный, с той самой кафедральной интонацией, которую Вешняков помнил по семинарии: Белояр всегда говорил так, будто читал лекцию даже когда просил передать соль. — И, если позволите, я хотел бы сказать не о маньяке. О нас.

— О нас?

— О том, как мы читаем. — Пауза. — В шестнадцатом веке книга стояла дома. Испорченную книгу не выбрасывали — её исправляли: соскабливали, переписывали, иногда вырезали страницу целиком. Мы называем это варварством. Мы ошибаемся. Это высшая форма уважения к тексту.

Вешняков сбавил скорость. Впереди был светофор, но он его не видел.

— Вы оправдываете убийцу? — спросила ведущая.

— Нет. Я объясняю. — Голос Белояра не изменился. — Оправдать — значит сказать «хорошо». Объяснить — значит сказать «зачем». А «зачем» страшнее всякого «хорошо».

— Но он убивает людей.

— Он убивает *страницы*. — Пауза. — Простите. Я говорю как историк. У каждого человека есть орган, которым он лжёт: язык, глаза, палец на подписи. Он лечит симптомы.

— Это чудовищно.

— Да, — согласился Белояр. — Но чудовищное не значит непонятное. И наоборот.

Вешняков свернул на обочину. Сердце билось ровно, но где-то под ним, глубже, было другое — тяжёлое, как камень.

— Артём Львович, — сказала ведущая. — У вас дрожат руки.

— Простите, — сказал Белояр. — Я тоже редактируюсь.

Вешняков выключил радио.

Он сидел в машине и смотрел на дождь. Двадцать лет. Двадцать лет он не слышал этот голос. В семинарии Белояр был старшекурсником, звездой; он читал наизусть Евангелие от Иоанна по-гречески и спорил с преподавателями так, что те улыбались. Вешняков был младше, тише, из тех, кто задаёт вопросы после лекции. Они дружили — странной дружбой, в которой один говорит, а другой слушает.

Потом Белояр женился на Ирме.

Вешняков выключил дворники. Стекло сразу стало мутным.

Он не думал об этом двадцать лет. Он запретил себе думать. Но сейчас, в машине, с дождём за стеклом, он вдруг вспомнил, как Белояр смотрел на Ирму — не как на женщину, а как на текст, который он собирался прочитать до конца.

И как Ирма однажды сказала ему, Вешнякову:

— Он слишком хорошо говорит. Я устаю слушать.

Вешняков завёл машину.

Ему нужно было в прокуратуру. Ему нужно было смотреть на мёртвого Ельцова и делать вид, что это просто работа. Но он вдруг понял, что не поедет туда. Не сейчас.

Он поехал на Гончарную.

* * *

11. Гончарная

Дом стоял на углу, за забором из профнастила.

Он был старый — не по московским меркам, а по-настоящему: два этажа, толстые стены, окна с глубокими откосами. Когда-то здесь была шёлкоткацкая фабрика; потом — художественные мастерские; потом — галерея, в которой Ирмаставляла своих учеников. На фасаде ещё висела вывеска: «Галерея на Гончарной». Буквы облупились, и «Г» была похожа на «С».

Вешняков остановил машину у забора. Он не выходил. Он смотрел.

Второй этаж был выгоревшим. Крыша провалилась, и в проломе виднелось небо — такое же серое, как всё вокруг. На стене, уцелевшей после пожара, темнели следы копоти; они поднимались вверх, как чёрные крылья.

Он знал это место. Он был здесь один раз — в тот вечер, когда Ирма показывала ему галерею. Она стояла посреди зала, в длинном свитере, с кистью в руке, и говорила:

— Здесь будет «Страшный суд». Не тот, который всех пугает. Тот, который всех *читает*.

Он тогда не понял. Теперь — тоже.

Вешняков вышел из машины. Забор был заперт; на воротах висел замок. Он обошёл здание с другой стороны и нашёл дверь, ведущую в подвал. Дверь была старая, деревян-

ная, с облупившейся краской; замок на ней был новый, но не заперт.

Он толкнул.

Внутри было темно и холодно. Пахло мокрой золой и сыростью. Он достал телефон, включил фонарь и стал спускаться.

Подвал был большой, с низкими сводами. Вода стояла на полу тонким слоем; от неё шёл пар. На стенах — следы огня: чёрные языки, которые не дошли до потолка и остановились, будто им стало скучно.

В дальнем углу он увидел дверь.

Она была заперта. На ней висела табличка: «Мастерская № 4. Каплан И. М.».

Вешняков постоял перед ней. Потом достал из кармана связку ключей. Он носил их четыре года, хотя не был уверен, что они от чего-то подходят.

Один подошёл.

Дверь открылась с сухим щелчком.

Внутри пахло не гарью. Пахло краской — льняным маслом, скипидаром, старым лаком. Комната была маленькая, с одним окном под потолком; свет падал сверху, серый и ровный. На стенах висели эскизы. На мольберте стояла незаконченная картина. На столе — кисти в банке, палитра, чашка с засохшей гуашью.

Вешняков подошёл к мольберту.

Это был «Страшный суд». Не тот, который он видел в со-

борах: не фреска с чертями и грешниками, а огромное полотно, разделённое на сотни маленьких сцен. В центре — фигура, сидящая на престоле, но лица не было: только контур, намеченный углём. Вокруг — люди, животные, ангелы, книги. Книги были везде: в руках, под ногами, вместо крыльев, вместо рек.

В нижнем углу, у самого края, была нарисована женщина с ребёнком. Ребёнок держал в руке лист бумаги, и на листе был знак.

Трезуб.

Вешняков смотрел на него долго.

Потом он отошёл к столу. В верхнем ящике лежал блокнот — обычный, в клетку, с картонной обложкой. Он открыл его.

Почерк Ирмы. Быстрый, с наклоном вправо, с длинными хвостами у «у» и «д». Он знал этот почерк так же хорошо, как свой.

На первой странице — дата: «14 октября». Дальше — столбик цифр, расчёты, наброски. Потом — рисунок: тот же трезуб. Рядом — слово, написанное печатными буквами: «АЗЪ».

Вешняков перевернул страницу.

«Он нашёл книгу, — было написано там. — Боже мой, он нашёл её».

Больше ничего.

Он сел на табурет. В маленькой комнате стало очень тихо. За стеной, где-то далеко, капала вода — ровно, как часы,

которые никто не заводит.

* * *

12. Штаб

Штаб разместили в подвале Петровки, в комнате без окон, с проектором и тремя столами, сдвинутыми в букву «П».

Гуров принёс бутерброды. Он всегда приносил бутерброды — даже на вскрытия, даже когда его просили не приносить. Он положил их в центр стола, рядом с папками, и сказал:

— Не стесняйтесь. С колбасой — для ума, с сыром — для настроения.

— Лёня, — сказала Величко. — У нас третий труп за сутки.

— Поэтому и с сыром, — сказал Гуров. — С колбасой мы уже не справляемся.

Он был большой, мягкий, с круглым лицом и глазами, которые всё замечали. Майор Гуров работал в отделе по экстремизму, но на самом деле он работал с людьми, которые перестали быть людьми. Он говорил, что профайлинг — это статистика с фантазией. Вешняков подозревал, что это ещё и способ не сойти с ума.

— Итак, — сказал Гуров, вставая у доски. — Что мы имеем.

Он нарисовал три круга.

— Первый — Заикин. Застройщик. Заказчик поджога. Язык и кисти. Поза писца. Лист требника. Тамга.

— Второй — Ельцов. Прокурор. Закрыл дело. Глаза. Гравюра Дюрера. Лист с молитвой. Тамга.

— Третий — пока не найден. Никитин. Пожарный. Свидетель. Дал ложные показания. Если он жив — он следующий.

Величко стояла у стены.

— Почему он оставляет подсказки? — спросила она. — Зачем называть следующего?

— Потому что это не подсказки, — сказал Вешняков. — Это *текст*. Он пишет книгу. Каждое убийство — страница. Лист, который он пришивает, — это страница из книги, которую он читает. И он хочет, чтобы мы прочитали вместе с ним.

— Зачем?

— Потому что он одинок, — сказал Гуров. — Все они одиноки. Но этот — по-другому. Он не хочет, чтобы его поняли. Он хочет, чтобы его *прочитали*. Это разные вещи. Понять — значит простить. Прочитать — значит признать автором.

Вешняков посмотрел на него.

— Вы уверены, что он хочет признания?

— Я уверен, что он хочет, чтобы кто-то ещё произнёс его слова. — Гуров пожал плечами. — Маньяки обычно оставляют послания полиции. Этот оставляет послания *вам*, профессор. Вы понимаете, что это значит?

— Что он меня знает.

— Не просто знает. Он знает, как вы думаете. Он знает, что вы читаете снизу вверх, что вы любите акrostихи, что вы не верите в случайности. — Гуров посмотрел на доску. — Он либо ваш коллега, либо ваш ученик. Либо...

Он не закончил.

— Либо кто? — спросила Величко.

— Либо тот, кто вас хорошо знал, — сказал Гуров. — Очень хорошо. Лучше, чем вы думаете.

Вешняков молчал. Он думал о блокноте в кармане. О слове «АЗЪ». О том, что Ирма писала это слово печатными буквами, будто боялась, что кто-то прочитает.

— Профессор? — сказала Величко. — Вы что-то хотите сказать?

— Нет, — сказал он.

Он соврал. Впервые за двадцать лет он соврал полиции.

* * *

13. Подкаст

В пятницу вечером Белояр записал новый выпуск.

Студия была в подвале на Пятницкой, в бывшем бомбоубежище, переделанном под звукозапись. Стены были обиты войлоком, и в них тонули все звуки — даже шаги. Он сидел перед микрофоном, положив руки на стол. Руки лежали неподвижно, но он чувствовал, как под кожей дрожит каждая мышца.

— Добрый вечер, — сказал он. — Это «Слово и тьма». Сегодня — без гостей. Только я и вы.

Он помолчал. В наушниках была тишина — та особая тишина, которая бывает только в студии, когда никто не дышит.

— Меня спрашивают: как относиться к тому, что в Москве кто-то «пишет телами»? — сказал он. — Я отвечу как историк. В шестнадцатом веке книга стоила дома. Испорченную книгу не выбрасывали — её исправляли. Соскабливали, переписывали, иногда вырезали страницу целиком. Мы называем это варварством. Мы ошибаемся. Это — высшая форма уважения к тексту.

Он посмотрел на свой рисунок, висевший на стене студии. Огонь и буквы. Вера, 9 лет.

— Я не оправдываю. Я объясняю. — Он сделал паузу. — Оправдать — значит сказать «хорошо». Объяснить — зна-

чит сказать «зачем». А «зачем» страшнее всякого «хорошо».

Он взял чашку. Чай остыл. Он сделал глоток.

— И последнее. Если кто-то из вас думает, будто я говорю о маньяке, — вы плохо слушали. Я говорю о редакторе. Редакторов бояться не нужно. Нужно бояться текста, который они правят.

Он выключил запись. В студии стало тихо.

Потом он посмотрел на руки.

Правая дрожала сильнее. Он сжал её левой, но левая тоже дрожала. Он поднял обе руки к лицу — так, будто хотел закрыть глаза, — и увидел, как пальцы трясутся в воздухе.

— Ещё немного, — сказал он вслух. — Ещё немного, и я не смогу держать нож.

Он улыбнулся.

— Что ж. Тогда я буду держать слово.

* * *

14. Никитин

Никитина нашли к вечеру.

Он работал не в пожарной охране — ушёл три года назад, после того дела. Теперь он был начальником смены в частной охранной фирме, которая обслуживала бизнес-центр на Солянке. Жил в Люблино, в панельной девятиэтажке, с женой и двумя детьми. Дети — школьники.

Величко приехала к нему домой в сопровождении двух оперативников. Никитин открыл дверь сам. Он был большой, с обветренным лицом и руками, которые не знали, куда деться.

— Вы по поводу... — сказал он. — Я читал. Я всё читал.

— Мы хотим вас защитить, — сказала Величко. — Временно.

— Защитить? — Никитин усмехнулся. — Это как?

— Мы перевезём вас в безопасное место. С охраной.

— А жена? Дети?

— Они останутся здесь. С ними будет группа.

Никитин посмотрел на жену, стоявшую в коридоре. Она была бледная, в халате, с телефоном в руке.

— Я не хочу уезжать, — сказал он.

— Это не обсуждается.

— Я не хочу, чтобы из-за меня... — Он замолчал. — Я тогда сказал, что не видел. Мне сказали, что если я скажу, то

меня уволят. У меня дети. Я не мог.

Величко посмотрела на него.

— Вы видели, кто поджёг?

— Я видел машину. Чёрная, без номеров. Я записал номер на руке, но потом... — Он потёр ладонь, будто хотел стереть что-то. — Потом приехали люди. Сказали: забудь. Я забыл.

— Вы не забыли.

— Я пытался.

Величко вздохнула.

— Собирайтесь. Пять минут.

Никитин ушёл в комнату. Жена осталась в коридоре, прижимая телефон к груди.

— Он не спал три ночи, — сказала она. — Он всё время смотрит в окно. Он говорит: «Он придёт». Кто — он?

— Мы не знаем, — сказала Величко. — Поэтому и забываем.

Она вышла на лестницу и позвонила Гурову.

— Взяли. Везём на объект.

— Хорошо, — сказал Гуров. — Аня, у меня новости.

— Плохие?

— Странные. — Он помолчал. — Я проверил почерк. Тот, кто писал листы, — не просто знает церковнославянский. Он знает *каллиграфию*. И ещё: у него дрожит рука.

— Что?

— Буквы «плывут». Не сильно. Но если сравнить первый лист и третий, видно: амплитуда растёт. Это не возраст.

Это...

— Что?

— Это похоже на БАС, — сказал Гуров. — Боковой амиотрофический склероз. Болезнь, при которой мышцы отказывают, а мозг остаётся ясным.

Величко прислонилась к перилам.

— Вы уверены?

— Нет. Но если это так, у него мало времени. — Гуров сделал паузу. — И ещё. Больной БАС знает, что умрёт. Он торопится. Это меняет всё.

— Что меняет?

— Темп, — сказал Гуров. — Он не будет ждать. Он закончит книгу до того, как не сможет держать нож.

* * *

15. Пропуск

Никитин исчез в двадцать три сорок.

Он был в комнате на втором этаже загородного дома, который СКР использовал для «безопасного содержания». Дом стоял в лесу, за бетонным забором; на входе — пост, на этаже — дежурный. Камеры работали. Всё было по протоколу.

В двадцать три тридцать Никитин попросил воды. Дежурный спустился на кухню. Когда он вернулся, дверь была открыта, окно — тоже. На подоконнике лежал телефон Никитина, а на экране — сообщение: «Выйди. Я у ворот. Я знаю, кто убил твою дочь».

У Никитина не было дочери. У него было два сына.

— Он вышел сам, — сказал дежурный. — По своей воле.

— Где камеры? — спросила Величко.

— Сдохли. Все три. В двадцать три тридцать пять.

— Одновременно?

— Да.

Величко вышла на крыльцо. В лесу было темно и тихо; снег лежал на ветках, и от этого лес казался белым, как кость.

На перилах крыльца лежал пропуск. Кремлёвский. На имя священника Германа Поликарповича Снеткова.

Она взяла его в руки.

— Кто это?

Оперативник посмотрел в телефон.

— Настоятель храма в Замоскворечье. Отец Герман. —
Он помолчал. — Он в списке консультантов патриархии. И
в списке допущенных на пасхальную службу.

Величко сжала пропуск.

— Найдите мне его, — сказала она. — Сейчас.

* * *

16. МЕНЕ

Тело нашли в пять утра, в служебном подземелье под Оружейной палатой.

Никитин сидел на каменном полу, прислонившись спиной к стене. Рот был зашит — толстой суровой нитью, тремя стежками, как пришивают лист к переплёту. На груди, на голой коже, выжжено: «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН».

Рядом лежал третий лист. Тот же почерк. Та же буква «Ъ».

Кремль был закрыт. На воротах стояли люди в штатском; у Спасской башни — автобус с ОМОНОм. Внутри, в подземелье, работали следователи, эксперты, представители ФСО. Всё было вежливо и очень тихо.

Величко стояла перед телом. Она не курила, но сейчас ей хотелось.

— Время смерти? — спросила она.

— Примерно час назад, — сказал судмедэксперт. — Может, полтора. Его привезли сюда живым. Или привели. Он сидел. Он не сопротивлялся.

— Почему?

— Потому что ему сказали, что если он сядет и не будет двигаться, ему расскажут, кто убил его сына. — Эксперт помолчал. — У него не было сына.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.